Андрей Медведев

Не первое лирическое отступление от правил

Рисунки автора

Андрей Макаревич

Не первое лирическое отступление от правил (сборник)

«Издательство АСТ»
2018

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Макаревич А. В.

Не первое лирическое отступление от правил (сборник) /
А. В. Макаревич — «Издательство АСТ», 2018

ISBN 978-5-17-105296-6

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКАРЕВИЧЕМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКАРЕВИЧА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА. Андрей Вадимович Макаревич – писатель, безусловно. Легенда русской музыки, поэт, художник. Вечный юноша с лицом Ноя, ибо на его «пьяном корабле» мы все плавали. «Старый корабль»… Между тем, думается, в строчках будущей Wiki Андрей останется писателем, подтверждением тому «Не первое лирическое отступление от правил», и не последнее, ибо мальчики не сдаются.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-105296-6

© Макаревич А. В., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Лирические отступления 6
Первое лирическое отступление 7
Второе лирическое отступление 10
Третье лирическое отступление 13
Макаризмы 16
про Красоту 16
Ничего не хочу 19
про Любовь 21
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Андрей Макаревич
Не первое лирическое отступление от правил

© А. Макаревич, текст, иллюстрации, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018

Лирические отступления



Первое лирическое отступление

Господи Боже, до чего же неловок и хрупок человек, как тонка и прозрачна его кожа, как ненадежны сочленения и суставы – и как же он при этом беспечен, заносчив и самонадеян! Еще пару часов назад вы полагали себя полным хозяином собственной жизни, а сейчас стоите, дрожа, в больничном коридоре и с запоздалой осторожностью поддерживаете левой рукой то, что совсем недавно было вашей правой, а теперь она чужая, при малейшем движении гнется не там, где должна, и вы чувствуете, как внутри нее что-то противно задевает друг о друга и всякий раз при этом холодный пот выступает у вас на лбу и тоненько бежит по спине – не от боли, нет, – от ужаса перед внезапной своей беспомощностью. И вас ведут на рентген, а вы уже знаете, что там случилось – когда что-то действительно случается, ощущения не обманывают. И вот на черной пленке ваша прозрачная ручка, и цыплячья косточка внутри нее сломана ровно пополам, и вокруг маленькие крошки. А дальше вам облепили плечо и руку противным холодным гипсом, он нагрелся, застывая, на шее у вас повисла неудобная незнакомая тяжесть, и – на выход, ждать, когда освободится место в палате. Но вы не уходите, потому что совершенно невозможно вернуться в ту, нормальную жизнь в таком виде и состоянии даже на время, и вы мечтаете только об одном – чтобы все, что с вами должны здесь проделать, началось и кончилось как можно скорее. Поэтому обреченно бродите туда и обратно по коридору, глядя в больничные окна – там слякоть, голые деревья, проезжают грязные машины, идут озабоченные люди и не ведают своего счастья.



А знаете, чем пахнет больница? Во-первых, чем-то, чем наводят чистоту, но не бытовую, человеческую, а после того, как кто-то уже умер. Хлорка, карболка? А еще – столовой пионерлагеря: перловый суп, подгоревший лук, маргарин. А еще – тем, чем пахнет в кабинете зубного врача: это смесь запаха то ли спирта, то ли эфира с запахом человеческого страха. А мимо стремительно проходит главный врач, и еще утро, а у него уже усталое лицо, и вдруг ловишь себя на том, что специально торчишь в коридоре у него на пути, чтобы он тебя увидел и поскорее положил в палату, а это глупость – койка от этого раньше не освободится, и все равно торчишь, потому что лечь хочется немыслимо, и когда он проходит, пытаешься поймать его глаза, и не получается – он про тебя помнит, но не тобой занята сейчас его голова – вас тут много, а он один.

И вот наконец койка свободна, но это ты по старой памяти думал, что взлетишь на нее, как птица, и лежать будет удобно, и хотя над ней висит специальная ручка, как в трамвае, для здоровой руки – карабкаешься на нее медленно и неуклюже, а когда вскарабкался – оказалось, что лежать совсем невозможно: нет такой позы, чтобы твоей каменной руке стало удобно, и вот тут она начинает болеть. Начинает уверенно, не спеша, с расчетом на длинную дистанцию. И проваливаешься в какой-то липкий черно-белый полусон, где нет ни времени ни мыслей, и только бывшая твоя рука, пульсируя на острие боли, не дает отплыть от убогого причала реальности.

Вечером приходит маленькая круглая медсестра. Она несет на подносике, как официант в ресторане, твои уколы. Она хохотуха, и вдруг понимаешь, что это она не чтобы тебя утешить, а просто у нее такой характер, и от этого почему-то становится легко.

И совсем уже легко становится утром, когда тебя переложили на каталку, накрыли простыней и везут по коридору в операционную, это совершенно новое смешное ощущение, тебя так еще ни разу не катали, ты едешь, как торт на праздник, и больничные лампы пролетают над тобой, и больные в коридоре заглядывают в твою каталку, как в блюдо – кого это там повезли, и вообще разница только в том, что везут тебя головой вперед. Везут уверенно и быстро, и ты совершенно успокоился, потому что с этой минуты от тебя уже ничего не зависит. А еще потому что во всех движениях врачей ощущается безошибочность, граничащая с автоматизмом – это у тебя все пока впервые, а у них каждый день такой, значит, правда, ничего особенного. А операционная недалеко, и неясно, за что тебе такая честь – прокатиться на тележке, и немножко неловко, и предлагаешь дойти самостоятельно. Смеются – нельзя.

И вот операционная наехала на тебя, знакомый уже врач – ты узнал его по глазам, на всех повязки – он шутит, над тобой огромная космическая лампа, все очень торжественно. И даже мысль о том, что сейчас этот чужой тебе человек полезет маленьким острым ножичком внутрь тебя, живого, не пугает. Интересно только, как ты будешь засыпать. Тебя уже однажды в жизни усыпляли наркозом, и ты тогда не заметил, как уснул, и сейчас изо всех сил стараешься не пропустить это мгновение. И все равно ничего не выходит, и ты уже в палате, все кончилось, тебя перекладывают на твою койку, и тебе хорошо и весело, потому что из всех ощущений боль возвращается последней. Рука твоя поверх гипса забинтована, оттуда торчит коктейльная трубочка, на нее надет пластмассовый стакан с крышкой, туда из трубочки капает что-то коричневое. Ты представляешь, как эта трубочка уходит под бинтами в самую сердцевину твоей руки, и тебе становится нехорошо. Лучше не смотреть на нее. Но! Тебя починили! Этот доктор залез внутрь тебя и сделал что-то совершенно тебе непонятное – все починил! И теперь твое возвращение к жизни – только вопрос времени! И вот тут хочется есть.

Масса всего нового неожиданного, но уже не трагического. Тебе в палату привозят обед: большие серые кастрюли, красным написано – «ПЕРВОЕ», – и оказывается, что с помощью левой руки вилка попадает в рот легко, а вот ложка – никак! К тому же тумбочка возле твоей кровати устроена так, что сесть за нее как за стол невозможно – упираются колени, и ложку с

супом приходится нести очень далеко, это даже здоровому не под силу, и суп капает на пижаму и пока еще девственно белый гипс.

Твой сосед по палате – милейший пожилой человек, но у него все время посетители, а к тебе никто не приходит – ты сам всем запретил, ты не хочешь, чтобы тебя видели с закапанным супом гипсом и за это жалели. А у него все время родственники, они очень тихо разговаривают, но все равно слышно, и встаешь и уходишь шататься в коридор, а там совершенно нечего делать, всю наглядную экспозицию по замене суставов ты уже выучил наизусть, а от прохожих по коридору хочется спрятаться – уж очень ты нехорошо выглядишь, – а родственники от соседа все никак не уходят, а если уходит один, то через полчаса приходит другой, и это невыносимо. К тому же ты уже третьи сутки пытаешься разгадать загадку: под потолком у вас в палате висит маленький телевизор, у вас на двоих один пультик, вы соревнуетесь в воспитанности и все время уступаете его друг другу. В промежутках гуляете по программам, пытаясь найти хоть что-то интересное. Но как только это интересное находится, ваш сосед тут же переключает канал! Он образованный человек, интеллигентный до застенчивости, и, казалось бы, вас должно интересовать одно и то же – что за ерунда? На Земле так много непонятного.

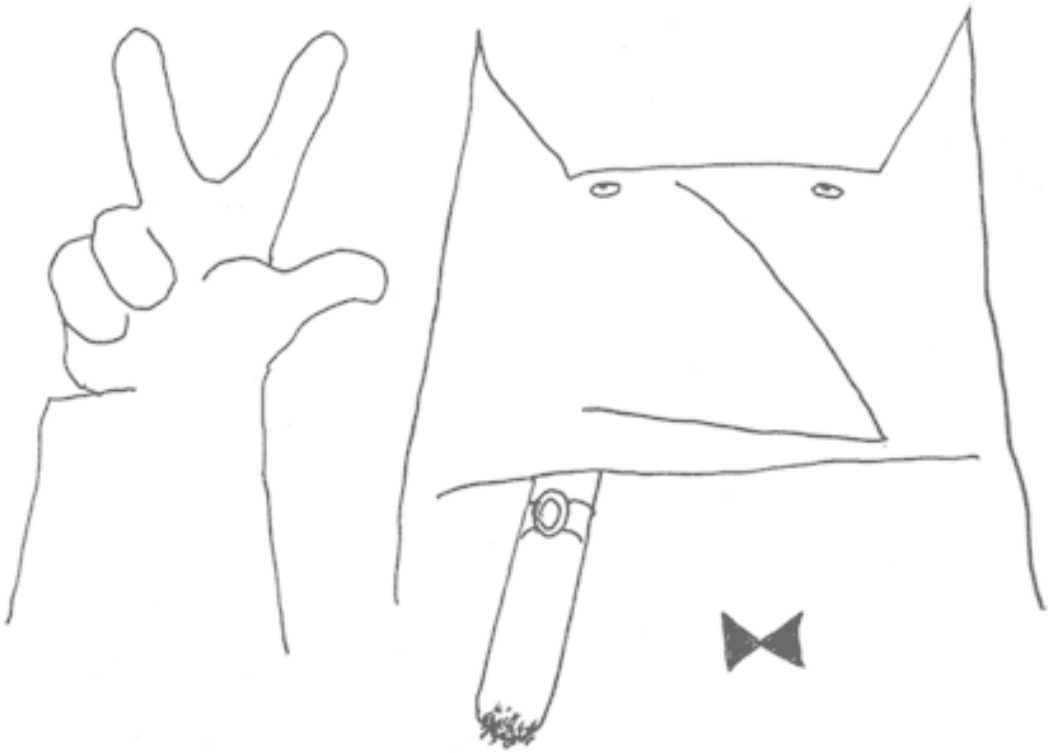
На пятый день все-таки припираются вдруг друзья-музыканты – с поллитрой, солеными огурцами, бородинским хлебом и домашней селедкой в баночке. Ты собирался сердиться – чего приперлись, – а самому вдруг приятно. Черт нас самих разберет. И выпиваем стоя, разложив газету на холодильнике, как положено, и наливаем соседу, и выясняется, что за пять дней я совершенно забыл вкус водки – наверно, когда организм начинает сам себя чинить, он все ненужное выбрасывает – делает генеральную уборку в доме. И друзья ушли, сосед дремлет, а ты лежишь, захмелевший (от ста пятидесяти-то!) и вдруг ловишь себя на мысли, что строишь планы, как будто ты уже здоров и ничего такого не было.

Все, что ли – домой?

Второе лирическое отступление

А знаете, какая самая большая пытка? Это та, которая вплотную прилипает к самой большой радости. И происходит это совершенно одинаково – будь ты в Гамбурге, Нью-Йорке или Омске, ибо наш человек везде одинаков, а последние годы даже более одинаков вдали от родины.

И вот ты отыграл концерт, и он опять получился отличный, хотя никаких предпосылок к этому, казалось, не было – и аппаратура так себе, и самочувствие, и вообще. И когда ты, согретый этим неожиданным счастьем, наконец оказываешься в гримерке и начинаешь стаскивать через голову мокрую рубаху – тут-то все и начинается. Никакие просьбы по поводу того, чтобы к тебе в комнату хотя бы десять минут никого не пускали, не работают. Дверь не запирается, а если вдруг и запирается – в нее будут барабанить, как милиция с ордером на обыск. И вот всовывается первая морда, он толстый и вспотевший, и на лице его еще следы песни «Поворот», которую он только что громко кричал вместе со всеми, а у тебя еще руки не вынуты из мокрой рубашки, и даже когда вынешь, ты его все равно не выпихнешь за дверь, потому что он, как террорист заложника, ведет перед собой бледную немощную девочку лет шести – дочку, и конечно фотографироваться надо будет с ней, хотя ей это на фиг не нужно, она не понимает, куда попала, и ей так же, как и тебе, хочется, чтобы все это быстрее закончилось. И становится тоскливо ясно, что чем объяснять этому толстому, что не надо сюда заходить как к себе домой, проще дать ему щелкнуть, и пусть идет к чертовой матери, но тебе надо сначала хоть что-то на себя накинуть, хотя толстому все равно – он может и так. Потом он будет долго устанавливать ребенка перед тобой, а сам обязательно в это время расскажет, что он рос на твоих песнях и где слушал тебя в восемьдесят втором году, и присутствие шестилетней заложницы не позволит заткнуть ему рот, а лицо его будет светиться таким счастьем и любовью, что у тебя опустятся руки. Наконец он сделал все, что хотел, и уходит, пятясь, но это только начало группового изнасилования. Потому что дверной проем уже заполнен подошедшими. Их объединяет общее выражение лиц. Так смотрит три дня голодавший на жареного цыпленка. Помните старинный фильм про нашествие зомби в универмаг? Они идут небыстро и даже как-то неуверенно, но спасения от них нет. В последнюю секунду удается, как в кино, захлопнуть дверь и прислонить к ней своего директора, но смысла в этом уже никакого нет – ты в осаде. И с тоской вспоминаешь короткий опыт гастролей по заграницe, только по настоящей, не русскоязычной – там даже к самой начинающей школьной группе за кулисы не пропустят ни одного человека, даже если за него попросят музыканты. В общем, находится компромисс – за дверью собирают бумажки, билеты, пластинки, сигаретные пачки и заносят в комнату ворохом – на всем этом надо будет сейчас расписаться. Это уже легче, хотя настроение подпорчено, и расписываешься не глядя, и одеваешься быстро, и сквозь строй в коридоре пробегаешь в автобус, правда, по пути надо сфотографироваться с охраной, которая пропустила к тебе всю эту шоблу, с пожарниками и с родственниками организаторов концерта – это святое. И вот ты наконец в автобусе, и все музыканты здесь, и вас везут ужинать в ресторан. Думаете, все? Не тут-то было!



Если это зарубеж, то ты десять раз накануне попросил – пусть это будет какой угодно ресторан: китайский, итальянский, японский, местный – только не русский! Не потому что ты русофоб. А потому что в русском групповое изнасилование будет продолжено. Называться он будет обязательно «Тройка», или «Матрешка», или «Самовар», и умный хозяин уже продал места тем, кто мечтает пообщаться и выпить с артистами, за это артистов, может быть, даже накормят бесплатно, и вообще у него с устроителем концертов свой договор – мы завтра уедем, а им тут вместе жить. И поэтому после лживых заверений тебя все-таки подвозят к ненавистной «Тройке», а ты ослаблен концертом, не знаешь города, и время такое, что все остальное уже закрыто. Устроитель прячет глаза, клянется, что тут «только свои», ему бесполезно объяснять, что его «свои» – это совсем не твои «свои», а жрать хочется, и стискивая зубы входишь внутрь. В этот момент раздаются аплодисменты, а лабухи на сцене обрывают на полуслове «Владимирский централ» и переходят на «Марионетки», и ты идешь быстро, опустив глаза, за свой стол уже не в силах ничего изменить и не понимаешь, почему за твоим столом не шесть мест по числу музыкантов, а двадцать четыре? А это как раз «свои». Если все происходит на родине, то помимо организаторов гастролей и спонсоров за столом располагаются: первый зам. губернатора, главный судья, главный гаишник, главный милиционер и главный бандит – все с женами. В случае заграницы ты даже предположить не можешь, что за люди сидят за твоим столом, мало того – это тебе совершенно неинтересно, и когда тебе их представляют – через силу улыбаешься и киваешь головой, хотя ни черта не расслышал, лабухи опять взялись за «централ», и нет никакой силы и возможности объяснить этим неплохим, наверное, людям, что ты свой концерт сегодня уже отработал и просто хочешь побыть в тишине один или с друзьями, но никак не в их компании, и будут кричать тебе через стол, прорываясь сквозь ресторанный гвалт и брызгая закуской, и чокаться с тобой за «группу нашей юности», и рассказывать какую-то ерунду, и заглядывать в глаза, а ты все будешь притворяться, что слушаешь, а станут опять фотографироваться, положив руку тебе на плечо и приставив с другой стороны пышную, как клумба, жену. И если тебе удалось в обход всего этого быстро выпить свои сто грамм, прогло-

тить кусок мяса, незаметно выскользнуть из-за стола и сбежать в гостиницу – тебе повезло. А количество совместно выпитого находится в прямом соответствии со степенью взаимного уважения – они готовы были выпить с тобой ведро, и никого ты, ей-богу, не хотел обидеть, но совершенно невозможно заставить себя напиваться с этими незнакомыми дядьками и играть роль, которую они для тебя придумали.

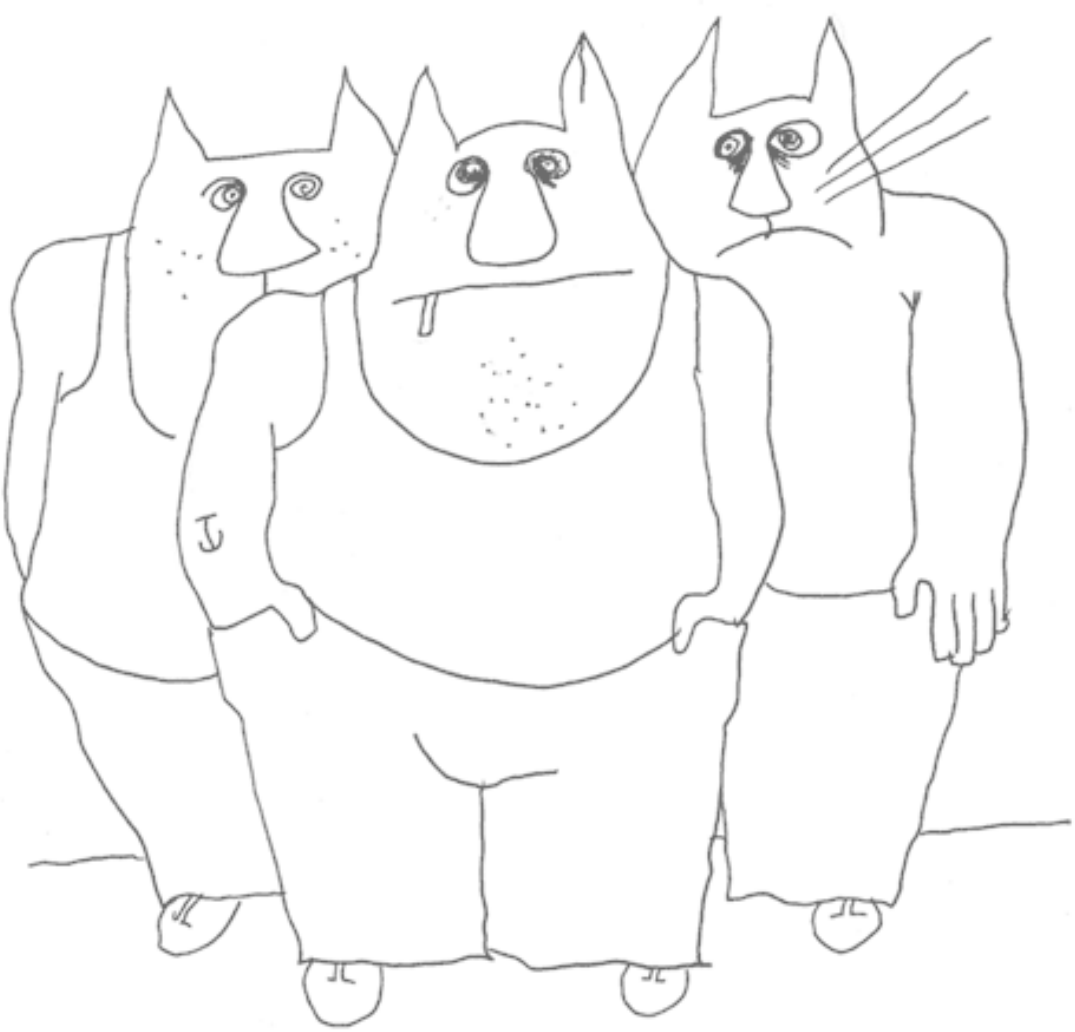
И разговоры, конечно, будут: «Чего это он? Важный какой-то». – «Да нет, приболел просто…» – «Да ну! Вот Якубович приезжал – так тот нормальный мужик. Гуляли так гуляли!»

Простите меня.

Третье лирическое отступление

Вы когда-нибудь видели, как мужики идут за вином? Нет, сейчас эта картина уже выглядит крайне размыто – исчез порыв, ушла битва. Достаточно протянуть руку с деньгами, и в нее вложат любую бутылку согласно вашим запросам и благосостоянию. Нет-нет, представьте себе какой-нибудь летний крымский городок – скажем, Гурзуф начала семидесятых. Утро, как правило, безлюдно – последние гуляки только-только расползлись из кустов, у пансионатов метут дорожки, пляжи еще пусты, первые пожилые пары и мамы с малышами занимают лежаки. Солнце поднимается выше, отчего море делается синей, подул ветерок, открывается «Блинная» на набережной, тетка, звеня ключами, отмыкает цистерну с надписью «Пиво», и рядом с ней тут же вырастает очередь с трехлитровыми банками, и вот – смотрите, мужики пошли за вином. О, эту походку, это выражение лиц не спутать ни с чем, и однажды увидев эту картину, запомнишь ее навсегда. Читается она только со стороны – если ты сам в рядах идущих, ты не увидишь ее красоты. Так пловец в открытом море не замечает течения. Идут по двое – по трое, собранно и энергично, хотя без суеты и с достоинством, и выражение лиц у них всегда вдохновенно-серьезное. Идут ПО ДЕЛУ. Дело не пустяковое, так как магазин в городке один, в лучшем случае два, одиннадцать пробьет через семь минут, а идти пятнадцать, и еще неизвестно, что там останется и что вообще завезли (впрочем, я несколько сгущаю краски – завозили обычно вволю.) А еще на их лицах – ответственность за тех, кто остался, не пошел в поход, но скинулся, и теперь только от идущих зависит, каким будет сегодняшний вечер и сколько радости он принесет.

В одиннадцать уже невероятно жарко, из четырех стеклянных дверей в магазин открыта одна, туда поочередно впихиваются страждущие с деньгами в потных кулаках и выдавливаются совсем уже мокрые, в прилипших рубашках, но счастливые – с вином. Жара усугубляется тем, что по набережной бродит милиционер в полной боевой выкладке и удаляет за пределы своей видимости отдыхающих в шортах и майках («Граждане, вам тут не пляж! Это городская набережная!») Внутри магазина – ад. Если на улице просто очень жарко, то внутри температура приближается к температуре внутри доменной печи – о кондиционерах жители страны советов еще не слыхали. Плотное мокрое месиво, состоящее исключительно из мужчин средних лет, медленно ползет вдоль прилавка. Сначала увидеть, что там дают, потом догрести, доплыть до кассы, обменять деньги на чек из толстой серой бумаги, сохранить силы для главного рывка к прилавку, обменять чек на тяжелые некрасивые бутылки темного стекла, вырваться на волю, пробуравив напирающую снаружи толпу, ничего не разбить и не потерять сознания – это вам как? На такие дела посылали самых надежных.



(Вообще отношение к делу – не просто работе, упаси бог! А к ДЕЛУ, возвышающему мужчин, отличает последних от женщин. Я однажды наблюдал в дикой Африке, как два местных жителя, пока их жены в количестве девяти штук копались в рисовом болоте – каждая с младенцем за спиной, – эти двое занимались ДЕЛОМ. Они вели бизнес. У дороги они расстелили газету, на которой был представлен товар – спички поштучно и макароны поштучно (именно поштучно, а не попачечно.) Торговля шла плохо. Точнее, она совсем не шла, и это спасало бизнес, так как спичек было полкоробка, и макарон – полпачки, и поставок не предвиделось. Но видели бы вы этих гордых негоциантов!)

Так вот, похожая облеченность миссией написана была на лицах Мужчин, Идущих за Вином. На этом сходство заканчивалось, так как, в отличие от застывшего во времени африканского процесса, процесс крымский развивался и давал результаты – вино удавалось взять (как правило.) Если не удавалось – надо было ближе к вечеру пристроиться к компании, представителям которой это удалось. И если халява не переходила в систему, то удавалось это всегда – портвейн, как я уже говорил, вселял в людские сердца доброту (до определенного предела, разумеется.) Мало того, он уравнивал употребляющих, и в какой-то момент вы себя чувствовали счастливыми составляющими одной огромной компании, а может быть даже, и страны. Возможно, в этом и заключалось скрытое воспитательное действие напитка, называемого в СССР «портвейн», и может быть, именно поэтому он так настойчиво и предлагался населению одной пятой земного шара.

Впрочем, пили на юге не только портвейн. Пили, конечно, и сухое – от отчаянья, когда портвейн кончался, и даже всякие игристые – типа «Донского красного». Коньяк не пили из-за дороговизны, а водку, видимо, из-за невозможности ее охлаждения – если в средней полосе водка комнатной температуры еще идет, то горячая в Крыму – уже с трудом. К тому же действие водки отличается от действия портвейна и поэтому менее подходит к состоянию южного отдыха. Русский человек, выпив лишнее количество водки, как правило, перестает любить человечество в лице отдельных его представителей, и гармония нарушается дракой. (Удивительно – на евреев эта особенность не распространяется – они от водки любят человечество еще сильней. Этот феномен заслуживает детального изучения.)

Также, конечно, в Крыму пилось пиво, но не как самодостаточный алкогольный напиток, а как средство, связывающее послевкусие вчерашнего праздника с сегодняшним грядущим. В этом качестве пиво выполняло задачу на сто процентов.

И вообще, скажу я вам – все особенности и нюансы тогдашней жизни соответствовали особенностям и нюансам тогдашнего кайфа. Ушла навсегда (хотелось бы) та жизнь, нет больше магазинов с названием «Гастроном» или «Вина-воды» (в Сочи даже был «Специализированный магазин по продаже водки населению» – как название?), да и напитки сменили вкус, и бутылки выглядят куда нарядней, и давиться за ними уже не надо. И никакой я ностальгии не испытываю ни по совку, ни по собственной молодости – разве что посидеть ночью на прохладной гальке гурзуфского пляжа под еле слышный плеск прибоя и треньканье расстроенной гитары в компании малознакомых ребят и девушек, красота которых только угадывается в темноте, передавая по кругу теплую от их рук бутылку портвейна «Кавказ».

Макаризмы

про Красоту

Отец одно время преподавал на первом курсе Московского архитектурного. Первый курс назывался ФОП – факультет общей подготовки. Он выходил к этим юным, победившим в жестоком конкурсе, прошедшим суровые вступительные экзамены без пяти минут гениям, ставил мелом на доске две точки – на расстоянии чуть больше метра друг от друга – и стремительно соединял их идеальной прямой. Потом предлагал студентам проделать то же самое. Ни у кого не получалось. Даже близко. «Вот за этим, – говорил отец, – вы сюда и поступили».

И за этим тоже.

Идеальный художник – это идеальный глаз плюс идеальная рука. И работают они в жесткой сцепке, как единый организм. Так было всегда, когда художник рисовал. До недавнего времени. Пока не появился концепт. Он как бы не отрицает ни глаза, ни руки, но делает их не главными, не обязательными. Главное – идея. А прямая линия – вообще чушь: компьютер дает такую линию, что прямее не бывает.

Что такое красота? У Даля нет ответа: «Красота, краса, украса, услада». В историко-этимологическом словаре современного русского языка – «то, что доставляет эстетическое наслаждение». Спасибо, объяснили. В Большом энциклопедическом словаре вообще бред: «Красота – квантовое число, характеризующее адроны». Я подумал, я с ума сошел. Толковый словарь русского языка Ушакова – нет объяснения! Словари кончились.



По-моему красота – это когда через наше корявое, рукотворное, бытовое вдруг проступает божественное совершенство. Оно бесконечно далеко от нас, но оно есть, вот оно, и это для меня одно из бесспорных доказательств существования Всевышнего. И ты не можешь объяснить, почему эта линия заставляет твое сердце чаще биться, почему это лицо на холсте светится тихим светом и слезы наворачиваются у тебя на глаза. Чувствуешь, а объяснить не можешь. Вот в словарях и пусто.

Гоните к черту тех, кто будет вам объяснять, что красота – понятие субъективное, у каждой эпохи, у каждого этноса свое представление о красоте. Это они так маскируют свое убожество. Они путают конфету и фантик. Фантики меняются, это правда. Меняются моды, направления, стили. А божественный свет – непреходящ. Он проступает из древних наскальных изображений и из фресок Феофана Грека, из холстов Боттичелли и Модильяни, из «Пьеты» Микеланджело и трактирных вывесок Пиросмани. Или не проступает. Из «Черного квадрата» ничего не проступает. Черный квадрат – и все. Ломать – не строить.

Мне семь лет, и я смотрю, как отец рисует. У нас с ним одна комнатка на двоих, у стены – мой раздвижной диванчик, у окна – его рабочий стол. Отец берет новый лист, несколько секунд смотрит на него, сощурясь, и вдруг стремительно проходит по нему толстой кистью, движения его резки и непредсказуемы, и через пару минут я, затаив дыхание, вижу, как раз-

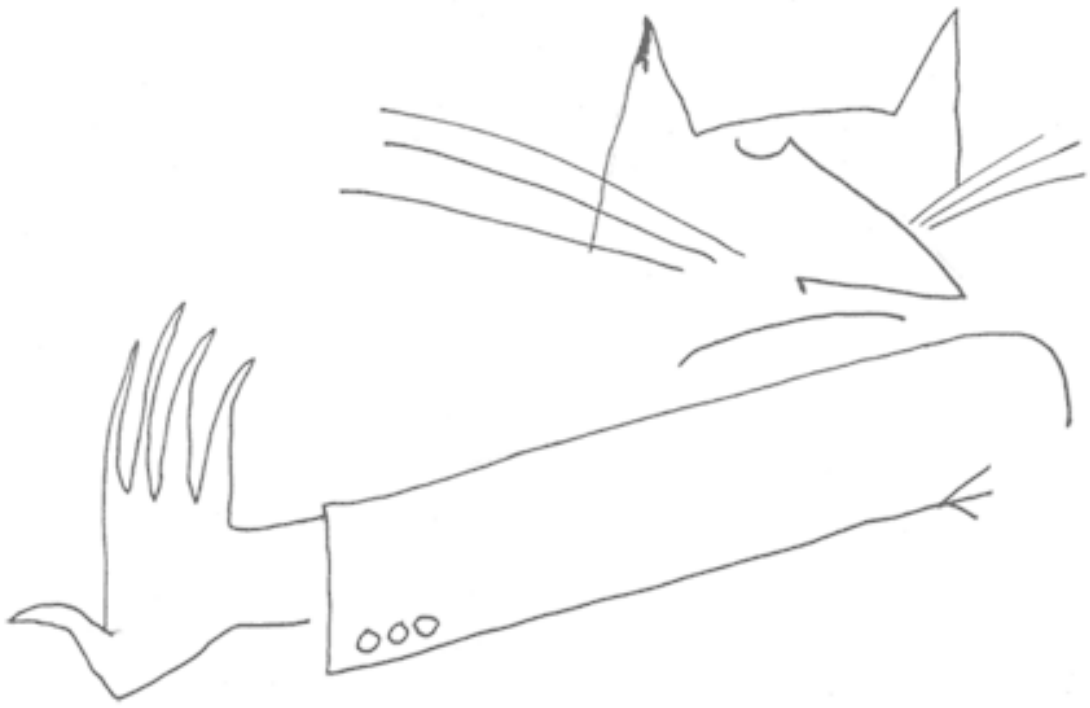
розненные линии и пятна соединяются в портрет женщины необыкновенной красоты. Образы этих женщин рождались у отца в голове – почему, как, откуда? Еще минута – и работа ложится сохнуть на пол рядом с двумя другими. Отец берет новый лист. Он будет рисовать, пока на полу не останется места. Я наблюдаю почти каждый день, как рождается Красота под рукой безупречного художника. Я готов наблюдать за этим бесконечно.

Как же мне повезло!

Ничего не хочу

Я понял наконец, за что я так не люблю зиму. Просто я сам себе зимой не нравлюсь. Вернее, нравлюсь еще меньше, чем в теплое время года. Я начинаю отвратительно себя вести. Масса вещей вдруг становятся – необязательными, что ли? Например, подарил друг-музыкант свою новую пластинку. И музыкант хороший, и пластинку хвалят, и летом я бы ее завел тут же весь в нетерпении, а вот лежит она у меня вторую неделю нераспечатанная. Возьму в руки и положу обратно на стол: не хочу. Да и стол рабочий давно надо бы разгрести: банки с краской, бумага, мусор какой-то – работать не сядешь. Не хочу. Постоишь над ним, вздохнешь – и пошел на кухню. Ничего не хочу.

Отчасти дело, видимо, в коротком дне. Мало того, что он короткий – он еще и сокращается, и это особенно противно. Обычный дневной замах не умещается в это шестичасовое относительно светлое время суток, называемое по привычке «днем». Только разогнался – а уже стемнело. Все – садись, пей. Чукчи думают, что человек произошел от медведя. У меня в предках явно был медведь. Может быть, шатун. Потому что впасть в полноценную спячку все-таки не получается – среда не отпускает и не до конца позволяет физиология. Давняя неосуществленная мечта: выяснив у секретных метеослужб предполагаемую дату первого снега, накануне погрузиться в самолет с минимальным набором необходимого и улететь туда, где люди всю жизнь ходят в майках и шортах и снег этот видели только в американском фильме ужасов «Послезавтра». А домой можно вернуться в конце апреля, когда этот самый снег уже сошел, вокруг вовсю орут птицы и весна просто висит в воздухе. Как-нибудь обязательно попробую.



И вдруг! Какого-нибудь двадцать шестого декабря (еще и новый год не наступил!) ты вдруг понимаешь, что день стал на минуту длиннее! Минута – пустяк, но завтра добавится еще одна! А послезавтра – еще! Делишки-то идут к весне! И все, оказывается, такой ерунды вполне достаточно. Раскопал на столе пластинку, распечатал, послушал – отличная пластинка! Разгреб стол, сел рисовать. Хорошо! А потом Новый год просвистит молниеносно, числа тре-

тьего выйдешь на улицу – а все разъехались, каникулы. Дороги пустые. Сел в машину, едешь себе. Неважно куда. Просто хорошо. Едешь и думаешь: «Делишки идут к весне!»

Думаете, психика, да?

про Любовь

Несколько лет назад меня пригласили участвовать в благотворительной акции «Раскрась корову». В мире такие акции проводят довольно часто, но в нашей стране это случилось впервые. Разным художникам раздали белоснежных пластиковых коров в натуральную величину, каждый расписал свою как мог, а потом их продали на аукционе. Я быстро придумал для своей коровы довольно смешную концепцию, сделал все за пару дней, и, помню, работа моя очень хорошо продалась – было приятно, не зря старался. С тех пор меня не покидало ощущение, что я не до конца высказался в этом жанре. Я решил продолжить – уже для себя. Оставалось найти собственно корову. Я вспомнил, что в прошлом году что-то похожее видел в магазине «Твой дом». В магазине мне сказали, что да, была у них такая корова, но никто ее так и не купил, и теперь она стоит на складе. Я поехал на склад в какую-то глухомань, и веселые толстые дядьки выволокли из лабиринта коробок и контейнеров и поставили передо мной роскошную корову – белую в черных пятнах и с большими грустными стеклянными глазами. Корова томилась на складе давно, была вся в пыли, на ней имелись утраты, и мне продали ее за полцены. Мой пес Гек, бернский пастух, человек добрейший и мечтательный, увидев корову, жутко перепугался. Он спрятался за кустом и оттуда наблюдал, трепеща, как два грузчика затаскивают в гараж непонятное чудовище. Заставить его подойти и познакомиться с коровой было невозможно. Наутро я приступил к работе. Я решил сделать корову черно-золотой. Такое черненое золото можно увидеть на древних японских украшениях и эфесах самурайских мечей, сочетание невероятно благородное. Первым делом я покрыл всю корову матовой черной краской из аэрозольного баллончика. Гек поборол страх, пришел в гараж и завороженно наблюдал, как животное на глазах меняет цвет. Потом настало время золочения. Дело это кропотливое и нудное – надо намазать небольшой участок коровы клеем, потом плотно прижать к нему кусок пленки с золотой амальгамой и, когда клей застынет, резко сорвать пленку – позолота останется на поверхности. Постепенно корова покрывалась золотой патиной – получалось даже красивее, чем я ожидал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.